

КУЛЬТУРНЫЙ
СЛЮЙ

*Талант сам по себе
бесцветен и приобретает
окраску только
в применении.*

М. Салтыков-Щедрин

СЕРГЕЙ
КРИВЕНКО

Салтыков-Щедрин
Бюрократы едят Россию

Культурный слой

Сергей Кривенко

**Салтыков-Щедрин.
Бюрократы едят Россию**

«Алисторус»

2026

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2=411.2)52

Кривенко С. Н.

Салтыков-Щедрин. Бюрократы едят Россию / С. Н. Кривенко —
«Алисторус», 2026 — (Культурный слой)

ISBN 978-5-00269-450-1

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889) — величайший русский сатирик, бесстрашный и беспощадный. Для современников он был кумиром, для потомков стал классиком. «У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!», «Не нужно путать Отечество и Ваше превосходительство», «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления», «Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать»... Эти крылатые выражения и в наше время нередко становятся интернет-мемами, их тиражируют блогеры, опираясь на авторитет великого сатирика. А с какой яростью он нападал на воровство, на коррупционеров... Щедрин был высокопоставленным чиновником и хорошо знал, что такое взяточничество... Он писал: «Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?» Остроты Салтыкова-Щедрина остро актуальны и в наше время. Эта книга адресована тем, кого интересуют жизнь и творчество великого сатирика, кто хотел бы разгадать все тайны писателя-пророка.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2=411.2)52

ISBN 978-5-00269-450-1

© Кривенко С. Н., 2026

© Алисторус, 2026

Содержание

Детство и юность	8
Конец ознакомительного фрагмента.	17



Сергей Кривенко
Салтыков-Щедрин.
Бюрократы едят Россию

© ООО «Издательство Родина», 2026

Надо сказать правду, в России в наше время очень редко можно встретить довольного человека <.>. Кого ни слушаешь, все на что-то негодуют, жалуется, вопиют. Один говорит, что слишком мало

свобод дают, другой, что слишком много; один ропщет на то, что власть бездействует, другой – на то, что власть чересчур достаточно действует; одни находят, что глупость нас одолела, другие – что слишком мы умны стали; третьи, наконец, участвуют во всех пакостях и, хохоча, приговаривают: ну где такое безобразие видано?! Даже расхитители казенного имущества – и те недовольны, что скоро нечего расхищать будет.

М. Е. Салтыков-Щедрин

Детство и юность

Первые детские воспоминания Салтыкова. – «Нежное» воспитание. Отсутствие родительской ласки. – Недостаток общения с природой. – Влияние Евангелия на детскую душу Салтыкова. – Живописец Павел и первые учителя. – Московский дворянский институт. – Лицей. – Преследование за чтение книг и сочинение стихов. – Лицейские «продолжатели Пушкина». – Несколько юношеских стихотворений Салтыкова. – Нелюбимость лицеиста. – Увлечение Францией.

Близость смерти не позволяет обыкновенно видеть настоящей величины заслуг человека, и в то время, как заслуги одних преувеличиваются, заслуги других представляются несомненно в преуменьшенном виде, хотя бы в наличности их никто не сомневался и даже враги воздавали им молчаливо известную дань уважения. Последнее относится и к Михаилу Евграфовичу Салтыкову.

Мало на Руси имен, которые говорили бы так много уму и сердцу, как его имя; мало писателей, которые имели при жизни такое влияние и оставили обществу такое обширное литературное наследство, наследство богатое и разнообразное как в отношении внутреннего содержания, так и со стороны внешней формы и совсем особого языка, который при жизни еще начал называться «салтыковским». Примыкая по роду творчества непосредственно к Гоголю, он нисколько не уступает ему ни в оригинальности, ни в силе дарования. Мало, наконец, людей, которые отличались бы таким цельным характером и прошли бы с такою честью жизненное поприще, как он.

Родился Михаил Евграфович 15 января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Родители его – отец, коллежский советник, Евграф Васильевич, и мать, Ольга Михайловна, урожденная Забелина, купеческого рода, – были довольно богатые местные помещики; крестили же его тетка Марья Васильевна Салтыкова и угличский мещанин Дмитрий Михайлович Курбатов. Последний попал воспитанником в дворянский дом по довольно исключительному предшествовавшему обстоятельству, о котором Салтыков рассказывает в шутовском тоне и лично, и потом в «Пошехонской старине», где Курбатов выведен под фамилией Бархатова. Этот Курбатов славился своею набожностью и прозорливостью и, ходя постоянно на богомолье по монастырям, заходил по пути и гостил довольно подолгу у Салтыковых. Случилось ему таким же образом зайти к ним и в 1826 году, незадолго перед тем, как родиться Михаилу Евграфовичу. На вопрос Ольги Михайловны, кто у нее родится – сын или дочь, он отвечал: «Петушок, петушок, востер ноготок! Многих супостатов покорит и будет женским разгонником». Когда родился действительно сын, то его и назвали Михаилом, в честь Михаила-архангела, а Курбатова пригласили в крестные отцы.

Воспитание помещичьих детей велось в ту пору по довольно распространенному шаблону, носило какой-то сокращенный, точно заводской, характер и не изобиловало родительским вниманием: детей растили и воспитывали обыкновенно на особой половине сначала кормилицы, а потом няньки и гувернантки или дядьки и гувернеры, потом учили их лет до десяти приходские священники и какие-нибудь «домашние учителя», нередко из своих же крепостных, а затем их сбывали в учебные заведения, преимущественно в казенные, или в какие-нибудь приготовительные пансионы. Воспитание это и вообще-то нельзя назвать рациональным, а салтыковское тем более из-за суровости домашнего режима и той довольно исключительной семейной обстановки, какая создавалась на почве крепостного права, и подчинения бесхарактерного отца практичною, деловитою матерью, которая больше всего думала о хозяйстве. Много видел маленький Салтыков и крепостной, и семейной неправды, оскорблявшей человеческое достоинство и угнетавшей впечатлительную детскую душу; но даровитая натура его не

сломилась, а напротив, точно закалялась в испытании и собиралась с силами, чтобы впоследствии широко расправить крылья над человеческою неправдою вообще. Однажды мы заговорили с ним о памяти, – с какого возраста человек начинает помнить себя и окружающее, – и он мне сказал: «А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут, кто именно, не помню; но секут как следует, розгою, а немка – гувернантка старших моих братьев и сестер – заступает за меня, закрывает ладонью от ударов и говорит, что я слишком еще мал для этого. Было мне тогда, должно быть, года два, не больше». Вообще, детство Салтыкова не изобилует светлыми впечатлениями.

«Пошехонская старина», имеющая, несомненно, автобиографическое значение, переполнена самыми грустными красками и дает если не буквально точную, то во всяком случае довольно близкую картину его домашнего воспитания в период до десятилетнего возраста. Михаилу Евграфовичу пришлось расти и учиться отдельно от старших братьев, которые были в то время уже в учебных заведениях, но все-таки он помнил и их детство и испытал на себе, хотя и в меньшей степени, тот же воспитательный уклад, в котором телесные наказания в разных видах и формах являлись главным педагогическим приемом. Детей ставили на колени, рвали за вихры и за уши, секли, а чаще всего кормили подзатыльниками и колотушками как способом более сподручным.

«Припоминается непрерывный детский плач, неумолкаемые детские стоны за классным столом, – заставляет он говорить своего Затрапезного, – припоминается целая свита гувернантов, следовавших одна за другой и с непонятною для нынешнего времени жестокостью сыпавших колотушками направо и налево... Все они бесчеловечно дрались, а Марью Андреевну (дочь московского немца-сапожника) даже строгая наша мать называла фурией. Так что во все время ее пребывания уши у детей постоянно бывали покрыты болячками».

Родители оставались ко всему этому равнодушны, а мать обыкновенно даже усиливала наказание. Она являлась высшей карательной инстанцией. Салтыков не любил вспоминать своего детства, а когда вспоминал какие-нибудь отдельные его черты, то вспоминал всегда с большой горечью. Никого лично он при этом не винил, а говорил, что тогда весь строй, весь порядок жизни и отношений был таким. Ни сами каравшие и расточавшие кары не сознавали себя жестокими, ни посторонние так не смотрели на них; тогда просто говорилось: «С детьми без этого нельзя», и в этом-то и был весь ужас, гораздо больший личных ужасов, потому что он-то и делал их возможными и давал им права гражданства. Внешней обстановкою детства, в смысле гигиены, опрятности и питания, также нельзя было похвалиться. Хотя в доме было достаточно больших и светлых комнат, но это были комнаты парадные, дети же постоянно теснились днем в небольшой классной комнате, а ночью в общей детской, тоже маленькой и с низеньким потолком, где стояло несколько детских кроваток, а на полу, на войлоках, спали няньки. Летом дети еще сколько-нибудь оживлялись под влиянием свежего воздуха, но зимой их положительно закупоривали в четырех стенах и ни единой струи свежего воздуха не доходило до них, потому что форточек в доме не водилось, и комнатная атмосфера освежалась только топкою печей. Одно только знали – топить пожарче и хорошенько закутывать. Это называлось нежным воспитанием. Очень возможно, что вследствие именно таких гигиенических условий Салтыков и оказался впоследствии таким хилым и болезненным. Опрятность также плохо соблюдалась: детские комнаты нередко оставались неметёными; одежда на детях была плохая, чаще всего перешитая из чего-нибудь старого или переходившая от старших к младшим. Прибавьте к этому еще прислугу, одетую в какую-то вонючую, заплатанную рвань. То же можно сказать и о питании: оно было очень скудным. В этом отношении помещичьи семьи делились на две категории: в одних еда возводилась в какой-то культ, ели целый день, продавали целые состояния и детей тоже пичкали, перекармливали и делали обжорами; в других, наоборот, господствовала не то что бы скупость, а какое-то непонятное скопидомство: всегда казалось мало, и всего было жаль. Сарай, ледники, подвалы и кладовые ломились от провизии,

готовилось много кушаний, но не для себя, а для гостей; себе же на стол подавались остатки и то, что начинало уже портиться и залеживалось; на скотном дворе стояло по ста и более коров, а к чаю подавалось снятое, синее молоко, и т. п.

Такого рода порядок, да еще в усиленной степени, был и в семье Салтыковых. Но нравственно-педагогические условия воспитания были еще ниже физических. Между отцом и матерью происходили постоянные ссоры. Подчинившись матери и сознавая свою приниженность, отец отплачивал за это тем, что при всяком случае осыпал ее бессильной руганью, упреками и укоризнами. Дети были невольными свидетелями этой брани, ничего в ней не понимали, а видели только, что сила на стороне матери, но что она чем-то кровно обидела отца, хотя обыкновенно и выслушивает молча его брань, и чувствовали поэтому к ней безотчетный страх, а к нему как к человеку бесхарактерному и не могшему защитить не только их, но и себя, полное безучастие. Салтыков говорил, что ни отец, ни мать не занимались ими, что росли они, как посторонние, и что он, по крайней мере, совсем не знал того, что называется родительскою ласкою. Любимчиков еще своеобразно ласкали, остальных – нет. Само это разделение детей на любимых и нелюбимых должно было портить первых и глубоко оскорблять вторых. Затем, если несправедливые и суровые наказания действовали ожесточающим образом на детей, то поступки и разговоры, при них происходившие, распахивали перед ними всю изнанку жизни; а старшие, к сожалению, даже на короткое время не считали нужным сдерживаться и без малейшего стеснения выворачивали и крепостную, и всякую иную тину.

Не раз Салтыков жаловался на отсутствие в детстве общения с природой, на отсутствие непосредственной и живой связи с ее привольем, с ее теплом и светом, оказывающими такое благотворное влияние на человека, которое наполняет все его существо и проходит потом через всю его жизнь. И вот что мы читаем в «Пошехонской старине» от лица Затрапезного: «...с природою мы познакомились случайно и урывками – только во время переездов на долгих в Москву или из одного имения в другое. Остальное время все кругом нас было темно и безмолвно». Ни о какой охоте никто и понятия не имел; изредка собирали грибы и ловили карасей в пруду, но «ловля эта имела характер чисто хозяйственный и с природой не имела ничего общего»; затем, ни зверей, ни птиц в живом виде в доме не водилось, так что и зверей, и птиц «мы знали только в соленом, вареном и жареном виде». Сказалось это и на его произведениях: описания природы у него редко встречаются, и он далеко не такой мастер на подобные описания, как, например, Тургенев, Лермонтов, Аксаков и другие. Впрочем, не особенно много радостей могла дать ребенку и северная природа – природа бедная и угрюмая, производившая, в свою очередь, удручающее впечатление не какою-нибудь величественною суровостью, а именно бедностью, неприветливостью и сереньким колоритом. Местность, где родился Салтыков и где протекло его детство, даже в захолустной стороне было захолустьем. Это была равнина, покрытая хвойным лесом и болотами, тянувшимися без перерыва на многие десятки верст. Леса горели, гнили на корню и загромождались валежником и буреломом; болота заражали окрестность миазмами, дороги не просыхали в самые сильные летние жары, а текучей воды было мало. Небольшие речушки еле текли среди топких болот, то образуя стоячие бочаги, то совсем теряясь под густою пеленой водяных зарослей. Летом воздух был насыщен испарениями и наполнен тучами насекомых, которые не давали покоя ни людям, ни животным.

В детстве Салтыкова было два обстоятельства, благоприятствовавших его развитию и сохранению в нем той искры Божией, которая потом так ярко горела. Одно из этих обстоятельств, в сущности, отрицательного свойства – то, что он рос отдельно и что за ним некоторое время было меньше надзора, – дало, однако, положительный результат: он больше думал, сосредоточивался мыслью на себе и окружающем и стал самостоятельно читать и заниматься, приучаясь к самостоятельности и самостоятельности, к тому, чтобы полагаться на себя и верить в свои силы. Читать было почти нечего, так как в доме почти не было книг, а потому он читал оставшиеся от старших братьев учебники. Среди них особенное впечатление произвело на него

Евангелие. Это-то вот и было вторым обстоятельством, оказавшим на него самое решительное влияние. Вспоминал он о нем потом как о животворном луче, внезапно ворвавшемся в его жизнь и осветившем и собственное его существование, и окружавший его мрак. Познакомился он с Евангелием не схоластически, а воспринял его непосредственно детскою душою. Ему было тогда восемь-девять лет. Мы не сомневаемся, что в лице Затрапезного он вспоминает именно о своем знакомстве с «Чтением из четырех евангелистов». Вот эти чудные строки:

«Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко поработал меня. При содействии этих новых элементов я приобрел более или менее твердое основание для оценки как собственных действий, так и явлений и поступков, совершавшихся в окружающей меня среде... начал сознавать себя человеком. Мало того: право на это сознание я переносил и на других. Доселе я ничего не знал ни об алчущих, ни о жаждущих и обремененных, а видел только людские особи, сложившиеся под влиянием несокрушимого порядка вещей; теперь эти униженные и оскорбленные встали передо мной, осиянные светом, и громко вопияли против прирожденной несправедливости, которая ничего не дала им, кроме оков... И возбужденная мысль невольно переносилась к конкретной действительности в девичью, в застольную, где задыхались десятки поруганных и замученных человеческих существ... Я даже с уверенностью могу утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего мирозерцания. В этом признании человеческого образа там, где, по силе общеустановившегося убеждения, существовал только поруганный образ раба, состоял главный и существенный результат, вынесенный мною из тех попыток самообучения, которым я предавался в течение года».

Не могу удержаться, чтобы не привести еще следующего замечательного по глубине чувства места, которое говорит о росте сочувствия и тяготения Салтыкова к народу, – процесс, показывающий понимание народного настроения и близкую, органическую связь этого настроения с его собственным душевным состоянием:

«Я понимаю, что религиозность самая горячая может быть доступна не только начекам и богословам, но и людям, не имеющим ясного понятия о значении слова „религия“. Я понимаю, что самый неразвитый, задавленный ярмом простолюдин имеет полное право называть себя религиозным, несмотря на то, что приносит в храм вместо формулированной молитвы только измученное сердце, слезы и переполненную вздохами грудь. Эти слезы и вздыхания представляют собой бессловную молитву, которая облегчает его душу и просветляет его существо. Под наитием ее он искренно и горячо верит. Он верит, что в мире есть нечто высшее, нежели дикий произвол, что есть в мире Правда и что в недрах ее кроется Чудо, которое придет к нему на помощь и изведет его из тьмы. Пускай каждый новый день удостоверяет его, что колдовству нет конца; пускай вериги рабства с каждым часом все глубже и глубже впиываются в его изможденное тело... Он верит, что злосчастие его не бессрочно и что наступит минута, когда Правда осияет его наравне с другими алчущими и жаждущими. И вера его будет жить до тех пор, пока в глазах не иссякнет источник слез и не замрет в груди последний вздох. Да! Колдовство рушится, цепи рабства падут, явится свет, которого не победит тьма! Ежели не жизнь, то смерть совершит это чудо. Недаром у подножия храма, в котором он молится, находится сельское кладбище, где сложили кости его отцы. И они молились тою же бессловною молитвой, и они верили в то же чудо. И чудо свершилось: пришла смерть и возвестила им свободу. В свою очередь она придет и к нему, верующему сыну веровавших отцов, и свободному даст крылья, чтобы лететь в царство свободы, навстречу свободным отцам...»

В другом месте, от лица того же Затрапезного, Салтыков говорит еще определеннее:

«Крепостное право сближало меня с подневольной массой. Это может показаться странным, но я и теперь еще сознаю, что крепостное право играло громадную роль в моей жизни,

и что только пережив все его фазисы, я мог прийти к полному сознательному и страстному отрицанию его».

Вообще, «Пошехонская старина» представляет большой интерес по отношению к автору, потому что бросает свет не только на детскую, но и на всю последующую его жизнь. Хотя он там и появляется только эпизодически, на фоне общей бытовой картины, хотя мы и не можем следить за ним день за днем, но все-таки видно, как, под какими влияниями и из каких элементов слагался его характер, его умственный и нравственный облик. Повторяем: нельзя, разумеется, утверждать, что все именно так и было, как там рассказано, но многое из того, что Салтыков лично рассказывал при жизни, воспроизведено им с буквальной точностью, даже некоторые имена сохранены (например, принимавшей его повивальной бабки, калязинской мещанки Ульяны Ивановны, первого его учителя Павла и т. п.) или только отчасти изменены.

Первым его учителем был свой же крепостной человек, живописец Павел, которому в самый день рождения Михаила Евграфовича 15 января 1833 года, то есть когда ему исполнилось семь лет, приказано было приступить к обучению его грамоте, что он и сделал, придя в класс с указкою и начав с азбуки. Тут есть некоторая неточность: рассказывая о первом уроке Павла Затрапезному, он говорит, что до этого он ни читать, ни писать – ни по-каковски, даже по-русски, не умел, а выучился только возле старших братьев и сестер болтать по-французски и по-немецки да заучивать по настоянию гувернанток и говорить в дни именин и рождений родителей поздравительные стихи; между тем приведенное в 5-й главе «Пошехонской старины» французское стихотворение оказалось среди бумаг Салтыкова и было написано детским почерком и подписано так: «*écrit par votre tres humble fils Michel Saltykoff. Le 16 octobre 1832*». Мальчику тогда не было еще и семи лет, следовательно, можно сделать одно из двух предположений: или что он читал и писал по-французски раньше, чем по-русски, или что стихотворение было написано от его имени кем-нибудь из старших детей. Но это – незначительная неточность, на которой не стоит и останавливаться.

В 1834 году вышла из Московского Екатерининского института старшая сестра Михаила Евграфовича Салтыкова, Надежда Евграфовна, и дальнейшее обучение его было вверено ей и ее товарке по институту Авдотье Петровне Василевской, поступившей в дом в качестве гувернантки. Им помогали священник села Заозерья, о. Иван Васильевич, обучавший Салтыкова латинскому языку по грамматике Кошанского, и студент Троицкой духовной академии Матвей Петрович Салмин, которого приглашали два года кряду на летние вакации. Занимался Салтыков усердно и настолько хорошо, что в августе 1836 года был принят в третий класс шестиклассного в то время Московского дворянского института, только что преобразованного из университетского пансиона. Однако в третьем классе ему пришлось пробыть два года; но это не вследствие дурных успехов, а исключительно по малолетству. Учился он по-прежнему хорошо и в 1838 году был переведен в качестве отличнейшего ученика в лицей. Московский дворянский институт пользовался преимуществом отправлять в лицей каждые полтора года двух лучших учеников, куда они поступали на казенное содержание, и одним из таких и был Салтыков.



В лицее, уже в первом классе, он почувствовал влечение к литературе и стал писать стихи. За это, а также и за чтение книг он терпел всевозможные преследования как со стороны гувернеров и лицейского начальства, так и в особенности со стороны учителя русского языка Гроздова. Таланта его, очевидно, не признавали. Он вынужден был прятать стихи, особенно если содержание их могло показаться предосудительным, в рукава куртки и даже в сапоги, но

контрабанда отыскивалась, и это оказывало сильное влияние на отметки по поведению: в течение всего времени пребывания в лицее он почти не получал, при 12-балльной системе, свыше 9 баллов до самых последних месяцев перед выпуском, когда обыкновенно всем ставился полный балл. Поэтому в выданном ему аттестате значится: «при довольно хорошем поведении», а это значит, что средний балл по поведению за последние два года был ниже восьми. И все это началось со стихов, к которым впоследствии присоединились «грубости», то есть расстегнутая пуговица на куртке или мундире, ношение треуголки с «поля», а не по форме (что было необыкновенно трудно и составляло само по себе целую науку), курение табака и иные школьные преступления.

Начиная со 2-го класса в лицее позволялось воспитанникам выписывать за свой счет журналы. Таким образом, Салтыковым получались: «Отечественные записки», «Библиотека для чтения» (Сенковского), «Сын Отечества» (Полевого), «Маяк» (Бурачка) и «Revue Etrangere». Журналы читались воспитанниками с жадностью; особенно сильным было влияние «Отечественных записок», где писал критические статьи Белинский. Вообще, влияние литературы было тогда очень сильно в лицее: воспоминание о недавно погибшем Пушкине как будто обязывало нести его знамя и на каждом курсе предполагался его продолжатель. Такими продолжателями считались В. Р. Зотов, Н. П. Семенов (сенатор), Л. А. Мей, В. П. Гаевский и другие, в том числе и Салтыков. Первое стихотворение его «Лира» было напечатано в «Библиотеке для чтения» 1841 года за подписью С-в. В 1842 году появилось там же другое его стихотворение «Две жизни» за подписью С. Затем произведения его появляются в «Современнике» (Плетнева): в 1844 году – «Наш век», «Весна» и два перевода, из Гейне и Байрона; в 1845 году – «Зимняя элегия», «Вечер» и «Музыка». Под всеми этими стихотворениями подпись: М. Салтыков. Он в это время уже вышел из лицея, но стихи эти были написаны еще там. Больше в стихотворной форме он, по-видимому, ничего не писал, по крайней мере, не печатал, а отдавал в печать только то, что уже было в портфеле, и отдавал не в порядке написания, а как случится: позже написанные вещи – раньше, а ранние – позже. Мы приведем некоторые из этих стихотворений как для того, чтобы показать, как Салтыков писал стихи, так и для того, чтобы видеть отражавшееся в них душевное настроение юноши – будущего выдающегося писателя.

Рыбачке (Из Гейне. 1841)

О, милая девочка! быстро
Челнок свой направь ты ко мне!
Сядь рядом со мною, и тихо
Беседовать будем во тьме.
И к сердцу страдальца ты крепко
Головку младую прижми —
Ведь морю себя ты вверяешь
И в бурю, и в ясные дни.
А сердце мое – то же море —
Бушует оно и кипит,
И много сокровищ бесценных
На дне своем ясном хранит.

Музыка (1843)

Я помню вечер: ты играла,
Я звукам с ужасом внимал,
Луна кровавая мерцала —
И мрачен был старинный зал.
Твой мертвый лик, твои страдания,
Могильный блеск твоих очей
И уст холодное дыханье,
И трепетание грудей —
Все мрачный холод навевало.
Играла ты... я весь дрожал,
А эхо звуки повторяло,
И страшен был старинный зал...
Играй, играй: пускай терзанье
Наполнит душу мне тоской;
Моя любовь живет страданьем
И страшен ей покой!

Наш век (1844)

В наш странный век все грустью поражает.
Немудрено: привыкли мы встречать
Работой каждый день; все налагает
Нам на душу особую печать,
Мы жить спешим. Без цели, без значенья
Жизнь тянется, проходит день за днем —
Куда, к чему? Не знаем мы о том.
Вся наша жизнь есть смутный род сомненья.
Мы в тяжкий сон живем погружены.
Как скучно все: младенческие грезы
Какой-то тайной грустию полны,
И шутка как-то сказана сквозь слезы!
И лира наша вслед за жизнью веет
Ужасной пустотою: тяжело!
Усталый ум безвременно коснеет,
И чувство в нем молчит, усыплено.
Что ж в жизни есть веселого? Невольно
Немая скорбь на душу набегит
И тень сомненья сердце омрачит...
Нет, право, жить и грустно, да и больно!..

Меланхолическое настроение автора, грусть и вопросы, зачем жизнь идет так печально и что этому причиной, — слышатся определенно и звучат искренностью и глубиной. Тогдашняя жизнь действительно мало представляла отрадного и изобиловала тяжелыми картинами бесправия и произвола. Для этого не надо было долго жить и далеко ходить, а достаточно было видеть одно крепостное право. Но вы чувствуете, что настроение это не отдает разочарованием, которое заставляет складывать руки, не похоже также и на бесплодную меланхолию, а, напротив, в нем слышится уже нота действенной любви («моя любовь живет страданьем

и страшен ей покой!»), которая потом все ярче и ярче разгоралась и не потухала до самых последних его дней. Стихи писать он скоро перестал, – потому ли, что они ему не давались, или что самая форма не соответствовала складу его ума, – но настроение осталось, и мысль продолжала работать в том же направлении.

«Еще в стенах лицея, – говорит г-н Скабичевский, – Салтыков оставил свои мечты сделаться вторым Пушкиным. Впоследствии он даже не любил, когда кто-либо напоминал ему о стихотворных грехах его молодости, краснея, хмурясь при этом случае и стараясь всячески замять разговор. Однажды он высказал даже о поэтах парадокс, что все они, по его мнению, сумасшедшие люди». «Помилуйте, – объяснял он, – разве это не сумасшествие, по целым часам ломать голову, чтобы живую, естественную человеческую речь втискивать, во что бы то ни стало, в размеренные рифмованные строчки! Это все равно, что кто-нибудь вздумал бы вдруг ходить не иначе, как по разостланной веревочке, да непременно еще на каждом шагу приседая». «Конечно, – добавляет г-н Скабичевский, – это была не больше как одна из сатирических гипербола великого юмориста, потому что на самом деле он был тонкий знаток и ценитель хороших стихов, и Некрасов постоянно ему одному из первых читал свои новые стихотворения».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.